

Впрочем, и тут различимы французские образцы, откуда обильно черпали и переводчики, и подражатели, и самостоятельные создатели русской элегии. При этом мотив покоя в русских текстах получает усиленное развитие даже подчас без достаточных поводов со стороны оригинала. Можно указать на перевод Н. А. Маркевичем IV элегии Э. Парни, Боратынским XXXVI элегии А. Шенье, И. Е. Тюриным «Adieu» А. де Ламартина.<sup>110</sup>

Постепенно романтическая тоска становится самодовлеющим мироощущением, переживается как морально законная и эстетически ценная неудовлетворенность бытием, принимая (отчасти вслед за Байроном, а отчасти и своим путем) размеры и формы «мировой скорби», бездонного разочарования. Ею вскормленный, зреет мятежный, в пределе своем богоборческий романтизм. В его контекстах зарождается и закрепляется отрицание покоя. Неистовый герой Полежаева, лишь притворно смилив «и буйный дух и сердце огневое», входит в мир «как лютый враг покоя и людей» («Черные глаза»).

Возникает самостоятельная тема внутреннего *беспокойства*, находящего себе все новые основания и оправдания в несовершенстве мира (виновником чего объявляется его Создатель), в людской порочности, в общественном нестройстве. Метафизически и художественно эта тема истощается к 1840-м годам и живет за счет литературной инерции. По мере того как угасают первоначальные эффекты дерзости и новизны, обнаруживается ее ценностная пустота. Самой ей нечего сказать — через нее начинает говорить наличная злоба дня, социально-этическая проблематика, все громче, все требовательнее приступающая к совести и к рассудку.

Характерные формы данная тема принимает у А. Н. Плещеева. Возбуждаемый «тревожною тоской», он из старого литературного материала возводит лирический пьедестал гражданскому

<sup>110</sup> Оригиналы и переводы собраны в книге: Французская элегия XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / Сост. В. Э. Вацуро. М., 1989.

беспокойству, чтобы с этой высоты предать проклятию былые утешения и провозгласить общественно-моральные императивы творчества.

В ужасной нагоде еще не представляли  
Мне бедствия тогда страны моей родной,  
И муки братьев дух еще не волновали;  
Но ныне он прозрел, и чужд ему покой!

(«На зов друзей»)

В программном стихотворении «Поэту» Плещеев единственным достойным уделом поэта признает «горькие слезы» гражданина, «святое страданье», с негодованием отвергая покой, поставленный здесь в один ряд с презренными «забавами света», преданьями отцов, себялюбивым равнодушием.

Покой оставался по ту сторону проходящей через мир (и через сердце поэта, уверял Гейне) трещины, неутомимо углубляемой вождями и певцами беспокойства. Нужен был художественный такт и метафизическая одаренность Лермонтова, чтобы удержаться от соскальзывания в нее. На самом краю он создает изумительный образ, в котором антиномия мятежности — покоя развернута от мрака и бездны к свету и простору. Изображению души, влекущейся и к бурным стихиям мира сего, и к блаженному покою мира иного, автор «Паруса» придал неожиданно нежный тон. Подобную двойственность уже нарисовал, как было показано, трезвый знаток человеческой природы Крылов — жестким пером в резкой светотени. Лермонтовский этюд отликает природными красками, озарен мягким сиянием. Белеющий в голубой дали моря парус (символ веры) весь в золотистом солнечном свете, во влажных отблесках лазури. Он просит бури — у Кого? — просит, а не вызывает против себя в демонической гордыне гибельные стихии мира.<sup>111</sup> Он провидит в буре высший

<sup>111</sup> Ср. у Полежаева:

Давно могучий ветер носит  
Меня вдали от берегов;  
Давно душа покоя просит

покой и доверчиво идет к нему. Желание мятежа возбуждено верой в покой. Парадоксальная последняя строка есть логико-семантическая *pointe*, вскрывающая тайную причину мятежности, острием восходящей интонации и рифмы указывающая на конечный смысл бурь.<sup>112</sup>

Притягательным для романтиков оказался тот покой, который они нашли, подходя к пределу человеческого существования и заглядывая за него. Тема *покоя-смерти*, затронутая, кажется, всеми романтическими авторами, одной стороной соприкасалась с телесно-душевым успокоением от земных тягот и мук, а другой стороной обращена была к загробному миру, исполненному мрака и неизвестности.

Жуковского мы особенно часто застаем в той меланхолической позе, когда он задумчиво

Смотрел на прах покоя и могилы.

(«Александру Ивановичу Тургеневу»)

Он трактует смертный покой, как и предшествующие ему в том Нелединский-Мелецкий («Песня»), Карамзин («Берег»), — в понятиях и образах сентименталистской антропологии:

Твоя душа покой вкусила,  
Ты спишь, тиха твоя могила.  
О пристань горестных сердец,  
Могила, верный путь к покою,

У благодетельных богов...

(«К моему гению»)

<sup>112</sup> В тонком разборе этой вещи С. В. Ломинадзе пишет: «...в „Парусе“ „покой“ — в его объективном запечатлении — тяготеет к родине» (Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985. С. 203–204; см. также с. 205–209). Следовало бы уточнить: к небесной родине; для Лермонтова только на фоне абсолютного сущего знаки земных вещей и состояний могли слагаться в письмо, имеющее идеальный смысл. Ср. наблюдения Л. М. Щемелевой над развитием мотива в «Парусе» и др. произведениях (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 301–302).

Когда же будет взят тобою  
Бедный певец?

(«Певец»)

Данные трактовки могли принимать вид лирических lamentаций (у И. М. Долгорукого в «Тоске») или философски углубленных элегий (у Жуковского в стихотворении «Могила», у Пушкина в «Безверии»). Среди случаев репродукции мотива можно указать на «Memento mori» Кюхельбекера, его же позднее стихотворение «Усталость», на поэму Г. С. Батенькова «Одичалый» (четвертая часть), на «Элегию» (1830) А. В. Кольцова.

Склонность видеть в «могильном покое» завершение бытия, последнее разрешение его коллизий, и не устремлять взор далее, к бытию сверхприродному, к покою вечному связана с тенденцией к религиозному и философскому агностицизму, с неверием в абсолютную истину. Этим умонастроением были захвачены многие еще в XVIII веке; ему платил дань и век XIX-й.

Трудно высказать это прямее и яснее, чем Боратынский. Сама истина вещает у него:

Я бытия все прелести разрушу,  
Но ум наставлю твой;  
Я оболью суровым хладом душу,  
Но дам душе покой.

(«Истина»)

И следующий ей поэт не может не отождествлять даруемый ею покой со смертью.

С точки зрения христианской онтологии подобная охлаждающая душу «истина» небытийна, меонична, враждебна Тому, Кто Сам есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). Представление о ней — продукт рационалистического разложения чистой тварности, взятой вне волящей и любящей личности Творца. Поэто-